

Л. Богданов

ЕСТЬ ЛЕС

Облик весенних деревьев-реликтов, самых древних и вечных форм. Период набухания почек, листья лиственницы. Сейчас нахожусь у другого окна, вижу лето в другое окно и не могу вспомнить еще особенностей растительности — зеленых кустов, травы. Минус лето желтых цветов, росших чуть не сплошь среди зелени.

А если бы за окном ива? И конец?

Лето — начало войны. Кленовый цвет, как поздняя мимоза, на песке и асфальте дорог наметен. Распустившаяся листва трех кленов, как листы мокрой бумаги, смята ветром, жесткие дубовые листья, только что достигшие своей нормальной величины, имеют в себе что-то кладбищенское. А отдельная ветвь дуба вдруг представляется каким-то символом смерти. Как дивные голуби /"Дхаммапада", примечания/.

Но так — было вчера — желтеющие носики на кленах, лиственница — сосна в елочных украшениях молодой хвоей — плетях елочной мишуры — и негнувшиеся дубовые листья — готовые искусственные венки, — 14 июня, и было еще на прошлой неделе.

Сегодня дуб закурчавился, и его листва как бы пересохла и сморщилась. Как я начал — в ней есть что-то от ивы, как плакучая ива — дубовый мвник.

Погустевшая трава под деревьями в одуванчиках, среди деревьев молодых, новых — ветхие заборы.

Эта гуща листьев и густота теней под деревьями и солнечные пятна повсюду — на траве и асфальте, домах и открытых пространствах, на всем созданном, как и существующем само собой, — эта камуфлированная действительность начала лета прочно связана с представлением о войне, буйстве, и именно о начале, о первых шагах — о наступлении.

А я представляю себе все эти хужайки среди деревьев установленными памятниками, но это, по-моему, не кладбище, и все памятники выставлены как бы на просушку — каменные-то. Это как грандиозный макет нашего будущего — никто реально не похоронен, нет читаемых надписей, — и мы можем над как-

дым едва обработанным или только специально установленным камнем призадуматься как над собственным намогильным памятником. И от этого мы загнаны в эти сумасшедшие дома, полу-базары, полу-монастыри а, уж точно, — торьмы, и толпимся у окон, курим в одиночку и группами, а когда повезет — пьем чай, передавая кружку по кругу ^х.

/Удельная/

2

Добраться
до звездного неба сна.

Сырой и ветреной ночью солнце — ближайшая звезда. Когда не дойти до следующей станции метро, словив секу у парка, — например, до Электросилы — сил не хватает.

К центру города по бурному Московскому проспекту /по архитектурному от него проекту/.

Дождь, ветер и боль хлещут в лицо, в иелкие ключья, с характерным звуком, рвется туман. Осколки зуба на верхней десне ощущаются как звезда. Звезда Воле — сила ветра.

Как разнообразна растительность парка /здесь — парка больницы Скворцова-Степанова/, так же разнообразно бурное весеннее небо.

Над чернеющей елью с ее шишками дождь из сырой, темно-синей тучки, отчего ель такая тяжелая и мокрая и есть.

Над голой лиственной растительностью быстрое небо /стремительное голубое небо/ и рваные белые орнаментальные облака, а над бледно-зеленым тополем небо не зеленое — "волна синей воды".

"Церковное внедрение в кинотеатр в мозгу женщины началось 25 веков..." и т.д.

Днем мне снятся лабиринты на удивление дворцовой архи-

х) требует распространения

текстуры психиатрических пространств, колоннады и переходы, и коридоры, и лоджи выецают плетеноподобные острова коек, сгруппированных по отделениям, а залы, за закрытыми дверями, полудосыгаемые для нас, заполнены галдящими по-своему конференциями ординаторов.

Разобраться в путанице этой бесконечности человеческого материала нет сил — поэтому мы и циркулируем каким-то образом, поэтому мы, как говорится, движемся куда бы то ни было.

На сон здесь я насмотрелся изображения Будды Мироку — Майтреи, Будды будущего мира, который "через 5670 миллионов лет явится в наш /?/ мир, дабы спасти всех его обитателей. Культ Мироку также проник в Японию очень рано /уже в XI-XII вв./....." Итак, — "...особенно на равнине Канто, окружающей Токио, очень часто встречается..."

В этой психиатрической системе удивительно часты телефоны-автоматы старых образцов, такие, как встречаются в парикмахерских — "нажмите кнопку", — и совершенно нет закрытых дверей, да и дверей вообще, кроме, как говорилось, дверей ординаторских зал и дверей жилищ здоровых людей, до такой степени эта система замкнута в себе.

Во время первой экскурсии тут под мысли и разговоры о казанской психиатрии, об ужасах Казани в сравнении с этой необычностью, узнаю что-то о местонахождении моем и о сроке.

Психобомбоубежище это — Эрмитаж внутри и Печерская крепость снаружи — лежит на холме вблизи Лихославля /см. во мне/. Достигнув границы больничного сада и выйдя за ограду, впервые в жизни и во сне и наяву я вижу пейзаж с домом моей бабушки и домами соседей в сизо-седом лесу /когда он вырос здесь?/, дремучем, до горизонта, и абсолютную конструкцию универсального храма над горизонтом — десятого, как временный сарай, а большого такого, что от удаления он не становится меньше, — как колокольня, от которой отъезжаешь на трамвае, кажется, вырастает.

За воротами начинается плодовый сад. Вне сада нашего находящийся. Тут под ногами валяется большая ветвь лимона с частью очищенными лимонами, частью целыми; когда я, по тяге с детства, тянусь к плодам, не брезгуя тем, что они наспех гнетены, туча мух и все, кажется, разных поднимается в воздух и мгновения висят надо мной — черных точек, переливавшихся, зеленых, синих, чуть не записал — красных. Я думаю, что лимонную ветвь привез кто-то из посетителей нашего обиталища. А на деревьях в изобилии яблоки сложных форм и айва, по-видимому...

Второй раз не пройти анфиладой отделений той же дорогой, как я ни стараюсь. Еще во мне забываю, опускаюсь ли я по многочисленным здешним лестницам. Я не могу воспользоваться здешними аппаратами даже с лестницей — так высоко здесь все, что могло бы помочь ориентироваться.

Но непонятным образом я оказываюсь снова в расположении своего отделения, и следующий выход, групповой, и составляет неописуемое, непередаваемое и провидческое содержание сна.

Обувь. Здесь по всем переходам вдоль стен составлена многочисленная и мешкая обувь. Мы выбираем по штуке некоторых фасонов замшевой обуви и гоним ее перед собой, пасуя и стигрывая, стараюсь не пропустить те же модели в дальнейшем. Но они не повторяются, а похожие попадают большими скоплениями к нас не привлекают, не привлекают нашего внимания. Почти ничего кроме обуви, только в одном месте находим /поднимаем/ и присваиваем интересный надувной мяч и неподалеку формой напоминающий круглую коробку от диафильма, но покрупнее, необычной конструкции к нему насос.

Науловим переход к поселениям полноценных существ, только что их поселок напоминает киNODEКОРАЦИИ — у первой же пивной, за стеклами, компания грузин, кавказцев. Их нейлоновые лапти как, знаешь, теперь варезки. Но тут мы чуждаемся. Здесь только большие, их койки и обувь, меню и двойные машины, работницы на которых привлекательны уже дурным вкусом.

А сняты здесь книги и немного новогодних игрушек. Он говорит: "смотрите - вот книги": что-то типа /но только типа/ Лут духовный - два первых слова, а дальше буквы надо угадывать в фигурках человечков-солдат или акробатов- "друга жениха" или "друга женщины" - это я точно видел, - ниже, по кругу: 1941 год и РСФСР и еще что-то - не помню, но это, поддельное или подлинное, т.е. подлинное или фиктивное, - место и год издания. И во сне и наяву я думаю, что это была издана так война, или что это продолжение заглавия.

Переплет матерчатый, цвета его пальто или цвета, как говорится, морской волны, а за титулом - еще обложка, оранжевая, качественного рыхлого картона, как "Серебряный голубь", если ты видела, или некоторый старый Фламмаркон, - просто такой оранжевый лист фактуры обложек сабадиновских изданий-киричек - Каледаса, Еврипид... - но в ключья разорванный и смятый не то жеваной булкой, не то оконной замазкой.

/Удельная/

3

Что ж, если и тот дом, за семь верст от нас, сумасшедший? Здесь одна единственная даль, сложенная, туманная. Сколько нужно облаков зараз, чтобы полить дождем больницу? Одно? Два? Сколько дождей? Она уместится под одним дождем.

Больница на холме занимает место кладбища. Со своим парком это и есть кладбище без могильных памятников. А поселок в низине, тесный и теплый. Больничные виды: поселок, поля, лес. Здесь, в 70 примерно км от А-да, со всех сторон нас окружают густые леса. В этой обстановке - с ассистентом. Ассистент на воле - он сообщает знания об этом месте. Тут думать, что моя вера - характер пола, тип отношения к половому вопросу, подход к акту. Открытый чересчур, не интересный или отступивший от интереса. Я в давке

испытывая всеобщность, ее мучает чувство одиночества в пространствах воли.

Августовские дни, когда мы в каждом месте усматриваем соответствие между состояниями погоды и нашим ощущением земли в целом. Когда земля стала выпуклой. Небо низким /близким/.

Больничные аллеи обрываются, и с холма открываются виды во все концы между большими парковыми деревьями и низкими, приземистыми своеобразными постройками, белыми с желто-красными, охристо-красными полосами. Я не могу сказать с уверенностью, какого они стиля, не рискуя показаться сунаседшим, — какого-то модерна, может быть, такая архитектура называлась египетской, — но у клуба есть квадратная звонница.

В аллее большое количество больных женщин производит интересное впечатление: их одежда, главным образом синяя с белым, отсутствием некоторых, как кажется необходимых частей, напоминает крестьянскую прошлого века, никогда не виданную, или одежду более удаленных, но современных народов. В фигурах их стерты признаки пола, это нация...

Из-за деревьев красные три яруса больничные дома новой постройки с торцов, когда окон за деревьями не видно, напомнили новодеревенский буддийский храм. Дома эти четырехэтажные, из красного кирпича, со светлыми полосами между этажами. Они небесно-голубые. По сравнению с храмом не хватает только позолоты, но что-то помогает домысливать буддийскую скульптуру, предполагать.

Трава, высыхая, выявляет свою структуру.

/Гатчина/

Бесконечно мало. Очень мало, но бесконечно.

Закаты во все одних окнах, как денежные бумажки,

старые тополя, черные ели, "багряный" "закат". А облачные будни с бесцветными деревьями и небом — оккупационные марки.

Деревья, как нарисованные Рембрандтом, известный рисунок, — три дерева, коричневатого тона, такая же земля. Прорисованы отдельные листья тополей, как монеты, бесконечные, на корявых стволах. Как монеты ветра обрассованы обобщенно в одном повороте — светлой стороной к нам, к зрителям, к налогоплательщикам.

Я видел ряд цветных закатов, похожих на устойчивую валюту, багряно-синих, в бесконечную череду пасмурных дней, похожих один на другой. А в окна противоположной стороны дома, в восточные, увидел восход /один/. Он также напомнил новую ассигнацию, что-то вроде двух сторон нового франка, размазанного на огромных холстах Ларри Риверсом. Как стыдно было бы мне на своем месте по забывчивости спутать фамилию этого поп-артиста...

По сравнению с теми клочками неба, которые достаются в городе, и небом, более широким в больнице Скворцова-Степанова, здесь, возле Гатчины, небеса как бы распахнулись, расширились, расступились во все стороны, ко всем горизонтам. Но в это жаркое лето днями не приходило в голову взглянуть на небо над собой, такое яркое слепящее солнце горело над нами и жгло немилосердно, а дальняя голубизна над лесом, прозрачная, белесая, непривлекательная, как теперешняя архитектура, не вызвала никакого образного сравнения, и так и осталось сходство с деньгами закатов и восходов и ясная луна одного полнолуния над яблонями прогулочных дворов.

И сцены прогулок под низкими яблонями, когда сто, двести человек толпятся в сагородке, лежат на траве, сидят вдоль заборов и под окнами на асфальтовой дорожке, похожей на карниз, а также бредут по дорожкам и сидят на лавках в своих джинсовых халатах или похосатых пижамах, кто в штанах, кто в куртке и кальсонах, многие в майках — красных, голубых или белых, или в полотняном белье, на всем больничные печати, — эта неизменная сцена с непонторимыми сочетаниями человеческих фигур чем-то изнутри тонко напоминает изображения на деньгах, а комбинационность намекает на

количество. Я не могу точнее написать. В чем-то это очень верно. Но почему деньги? В первый раз.

/Гатчина/

5

Пыль — национальный продукт Эстонии. Она не похожа на взвешенную летучую гарь больших городов РСФСР, Москвы и Л-да. Светящиеся белые кристаллы ее или точки медленно проникают в янкий воздух вследствие диффузии. Для нас эти частицы почти неподвижны, как звезды сияют в структуре всего здесь, на фоне тени на вещах.

Подобное явление я наблюдал в горах Узбекистана, в местечке Брич-Молла, под действием продолжительного поста в горном уединении. Мы на закате проходили глиняной улочкой этого места, солнце освещало вечерним светом глухие стены домов, изгородей и землю. Все это была одна глина, и казалось, что частицы ее висят и в воздухе, как одна из его составных частей, своеобразным сухим туманом; и медленные птицы, какие-то узбекские мадаки в крапинку, также казались слепленными из глины и искусно раскрашенными, глинистая пыль сгущалась вокруг них, и они были видны как бы не так отчетливо, как пустота пространства, воспринимаемая явственнее; не было ни малейшего ветра, только красные солнечные блики и эта закономерная взвесь. И эта пыль была чиста по ощущению. Ничего общего с тем, что мы привыкли встречать в городских домах, в городах.

Здесь, в Ванной Эстонии, на озере, пожалуй, она воспринимается как то, что называется водяной пылью, но я плохо уже помню, что именно называли так в моем раннем детстве на Балтийском побережье в Германии. Здесь она белая, как осмысляющая побелка домов, это сообщает ей особенно опрятный вид, она как блестящие вкрапления в асфальте. Она возникает как результат бытования того и другого — асфальта и белых домов, — их непрерывного существования или стояния,

или лезания в эдешней атмосфере. Этот эдешний продукт — лучшее доказательство несомненности бытия...

На севере, на побережье — это песок. Он вечен. Вечные маленькие наносные косы песка на любой поверхности, маленькие дюны песка у всех щелей — напоминание о настоящих, никогда не виданных.

Пляжные конструкции, несущие подчеркнуто современный характер недолговечности, временной нарядности, хорошо гармонируют с теми и другими волнами побережья. Они здесь, кажется, эти конструкции, да сосны и производят вечный шум ветра, гул моря...

На стеклянных прилавках эстонских магазинов, в витринах, чуть ли не в каждой бутылке на дне — неподвижный наносный, невытый песок. На столах, на полах, на панелях вдоль тротуаров и на тротуарах вдоль домов, под деревьями и между их корнями, в траве, в транспорте... В воздухе его не чувствуется, он всегда уже лежит здесь, он виден — кажется белыми точками света в воздухе, вполне нематериальными. Скопления восточноевропейских коттеджей западного образца на шоссе. Часами тлнут пространства однообразной застройки, по сравнению с которыми особняки городов Западной Украины — пальмы рядом с нашей северной растительностью. Ничего примечательного. Непонятно, как развратятся быстро меняющиеся обитатели в этих однообразных улицах, что сообщает особенность эта их жизни. Предполагается какая-то особого типа конспиративность, что-то восточное, почти японское. Такой многочасовой город маленьких домов за Ломоносовым.

Я недостаточно молод, чтобы мечтать о безлюдье подлинном — вдоль железных дорог.

В сирой день в автобусе от Соснового Бара к А-ду, собственно — к Браниенбауму, мы все время движемся среди этих стрессов. Почти все не оконченные отделкой, со следами строительства на участках, они напоминают плитки пола в уборных, терракотового цвета, с той разницей, что пол туалета виден весь и за счет этого каждая плитка более индивиду-

ализирована, нехоти усадьбы. И здесь, в тесном автобусе, не успев согреться, мы вызываем в себе представление о виде обширных клиньев такого строительства с высоты птичьего полета. Непрекращающийся шум дождя так отвлекает от характерной автобусной езды. Клоchy облаков цепляются за дома и деревья, и свет в окнах дальних на них для того и зажат, чтобы они не заблудились, не растворились в клоchy тумана, не ушли, окончательно не потеряли человечности.

Переход у пристани виден только наполовину. Над водой бьет в колокол, и мы в тумане видим его звук, как сам этот колокол, движущийся по отлогим волнам, но он ни на чем не укреплен, он висит в тумане отдельно.

Я вспоминаю вынесенную в море несколькими зигзагами петродворецкую пристань, где мы проходим, и среди этих домов, о которых я говорю, мне кажется, мы чувствуем себя сходимым образом. Тут, как и в новых городских районах, индивидуализированы только аптеки, поликлиники и больницы являются ориентирами, стоящими того, чтобы их запомнили. Относительно них мы себя и ведем. В описываемое время у меня была с собой маленькая монография Сесса — нецветные фрагменты пейзажных свитков —

и под впечатлением от его работ я смотрел на "чубчики кучерявые" декоративных сосновоборских холмиков, поросших сосновым лесом, зеленым под снегом. И все там напоминало морские волны со срывающейся с вершоек пеной. Кодекс делал мое восприятие слитным, нечлененым, порождая обобщения. Таблетки от камня продавались свободно.

Так же зимой я смотрел на Псков под ингафеном, церкви связывали концы бревенчатых звезд провинциальной архитектуры. Второй раз, после гамма, я испытывал Божий страх, встречая много голубоглазых мужчин. Под наркозом стоило чуть испытать скуку, например, во время переездов, и ты отвлекался, забывался в себе и не испытывал неприятного однообразия перемещений, свободно связывая отдаленные по времени впечатления, и подбирая схожие на любых уровнях погруженности в себя или во внешнее. Можно было забывать обо всем, тнувшись в жизни, переходить свободно из общего на одном уровне к другим, также забываться, не халеть

об уходящем и уходящих. Чифир, кодеин, фенамин, морфин смотрели сквозь меня, план, ноксирон, перонал, кофени. Я думаю о путешествиях, которые мне не совершить, и говорю, что в моих обстоятельствах они заменены жестами, жесткостью, жесткованием подлинным.

Поруженное одиночество, обложки одиночества первоначального восприятия жизни, мне свойственного, под влиянием конфликтов заменилось непереводающимся ощущением слияния с миром, безодинокости, интересности жизни. А подложены под это два впечатления от поведения женщины — за столом, где женщина в роли хозяйки начинает есть не с начала, не ломает хлеба, резкое впечатление женской живости при нас двоих, и другое: проходя пустырем, среди новых домов, перед лицом бесконечных их окон, она не скрывает, что не хочет быть понята неправильно случайными очевидцами, и этого не скрывает. Того, что ложь предназначена близкому. В первом случае дело кончается внезапными слезами, и во втором только сдержанность мужчины способна их предотвратить, но разве я счастливее с женщиной, в связи с которой не испытал ни того, ни этого?

Я думаю, что психологическая мелочность этих двух наблюдений, одновременных, является выражением моей психической болезни, — то, что их только два к тридцати годам у меня на эту тему. Требуется дар, как мы уже слышали неоднократно, и к наблюдениям над живостью, — пожалуйста, не возражай...

Здесь седний как пиль, и в пиль не разглядеть, сколько здесь людей, "красной пиль", терракотовой. Ясно только, что много. Характерное звучание безумца, его звук в первой палате — зен дене.

Как долго нужно разрушаться похожому на комод старому зданию желтого дома, ремонтировать и модернизироваться, пока оно не займет своего места в природе окружающей, не сольется, проще говоря, с этим местом...

Созвездие забора на белых столбах густых яблонь, буй-

ных, полной луны, этой земли и яркой звезды выше и много правей в темном небе — здесь.

Черные хлопья выбоин на линолауме под мрамор светло-сером, осыпавшаяся побелка на окнах.

В одну из первых ночей мне приснились две сияющие золотые короны над красно-бело-синей эмалью или муаром фонов гербов. Одна императорская, а другая? Не знаю. Гатчина.

Кладбище сумасшедших называется Лобановские кусты...

Я забыл записать, что в тридцати годам у меня в полной мере развилось только чувство ответственности за то, что я делаю. Она одна продолжает накапливаться во мне ровно и полно.

/Гатчина/

6

Листья осенью — при электричестве. Стало холодно, и мы включили свет.

/1972-73 г.г./